Этнографии медленного насилия: исследование последствий разрушения сельской инфраструктуры

А. Форбруг

Александр Форбруг, кандидат географических наук, научный сотрудник Института географии Университета Берна (Швейцария). Галлерштрасе 12, 3012, Берн, Швейцария. E-mail: alexander.vorbrugg@giub.unibe.ch

Понятие «медленное насилие» рассмотрено в статье с точки зрения соотношения в нем, с одной стороны, концептуального содержания и исследовательской проблематики, с другой стороны — практик этнографической полевой работы и описаний. Акцент в статье сделан на двух аспектах проблематики: во-первых, автор рассматривает эпистемологическое взаимодействие исследователей и информантов, которые сталкиваются с теми формами насилия. Во-вторых, автор утверждает необходимость этнографического изучения множественной темпоральности в силу протяженных и сложных временны*х* ландшафтов насилия, которые можно отследить через их темпоральные пересечения. Полевая работа все еще рассматривается преимущественно в пространственных категориях, поэтому проблема медленного насилия выступает важным напоминанием не упускать из внимания темпоральное измерение этнографического исследования. Свою аргументацию автор выстраивает на данных этнографической работы в сельских регионах России, которая подтверждает способность понятия «медленное насилие» сделать видимыми те формы утраты и лишения прав, что часто игнорируются в научных и публичных репрезентациях российского села.

Ключевые слова: медленное насилие, множественная темпоральность этнографии, политика репрезентации, полевая работа, сельская Россия

DOI: 10.22394/2500-1809-2020-5-1-31-52

Неуловимое насилие

Будучи в деревне российского центрального Черноземья, я оказался вовлечен в разговор двух пожилых женщин, сидевших на лавочке перед их домами, и разговор завязался легко и дружелюбно. Это был один из первых солнечных теплых дней после холодной зимы, поэтому было вполне естественным выйти на улицу и насладиться солнцем и легким разговором со случайным прохожим. Женщины обсуждали события в деревне, что Путин сказал по телевизору, семейные дела. И тут их разговор принял печальный оборот: три недели назад сын одной собеседницы умер в Москве, куда переехал в поисках работы. Она полагала, что это мог быть и несчастный случай, и убийство. Ее дочь уехала в Австрию десять лет назад, и с тех

пор она с ней не виделась. Сын второй собеседницы умер в Москве двенадцать лет назад, но и она не знала подробностей его гибели. Ее младший сын остался в деревне и, по ее словам, проводил дни в безделье, сильно выпивая. Ее дочь, получив высшее образование, работала в местном отделении банка уже восемь лет, зарабатывая семь тысяч рублей в месяц. Тут к разговору присоединилась третья женщина, отметив, что ее сын погиб в автоаварии некоторое время назад, видимо, будучи пьяным. Три собеседницы продолжили разговор о сыновьях и внуках, которые работали охранниками в городах. Многие собирались оставить эту работу, поскольку заработка была едва достаточно, чтобы оплачивать проезд и жилье в городе, и хотели вернуться к нерегулярным подработкам и, видимо, пьянству в деревне. Судя по разговору, собеседницы не винили молодых мужчин в «растрачивании» жизни, хотя очень переживали за них, — скорее они злились на те насильственные условия, которые лишили их детей и внуков возможности вести достойную и безопасную жизнь. Поразительно, что собеседницы явно воспринимали их выбор пропить свою жизнь как не менее легитимный и достойный, чем опасная, низкооплачиваемая и унизительная работа ради чужого обогащения.

В нарративах пожилых сельских женщин все это не звучало как нечто примечательное или необычное — напротив, как нормальное положение дел. Впрочем, и я не был удивлен: их рассказы напомнили мне о многих других преждевременных смертях и скорби тех (преимущественно женщин), кто пережил своих (в основном мужчин) детей и супругов, с которыми я сталкивался в своих полевых исследованиях. Эти рассказы напомнили мне и о недоеденной картофелине, которую я увидел на столе на строительной площадке несколько дней назад. Мой друг показывал мне это место и объяснил, что мужчина, оставивший картофелину на столе, неожиданно умер в возрасте 24 лет. Недоеденная картофелина лежала на столе еще две недели после его смерти, что, в отличие от многих других ситуаций, не показалось мне чем-то неуместным (Но почему молодой человек умер так внезапно? Почему картошка, которую он начал есть, пережила его, оставшись лежать на столе?)

Р. Никсон (Nixon, 2011: 3) определяет медленное насилие как «распространенное, но неуловимое насилие с отсроченными последствиями», «рассредоточенными во времени и пространстве» (Nixon, 2011: 10). Первоначально я не планировал проводить этнографическое исследование медленного насилия, однако это понятие помогло мне понять особый тип неожиданных событий в этнографической работе (Beban, Schoenberger, 2019; Faier, Rofel, 2014). Медленное насилие — это не нечто исключительное, ограниченное предустановленными группами и местоположениями, напротив, это сквозная проблема целого ряда контекстов и социальных положений, проявляющаяся самым разным образом. Это одна из причин, почему необходимо и полезно

с исследовательской точки зрения воспринимать медленное насилие серьезно — это методологический, аналитический, репрезентационный и политический вызов для этнографии в широком смысле слова: он заставляет и помогает изучать проблемы, рассредоточенные в пространстве и времени.

Каковы методологические основания географического анализа этого вызова? Географы опираются на долгую и устойчивую традицию изучения пространственно рассредоточенных феноменов не только в географии, но и в сопредельных дисциплинах. Понятие медленного насилия буквально заставляет нас выстраивать явные методологические связи с временны*м* измерением, множественной темпоральностью, незаметными переменами и затяжными бедствиями. Я полагаю, что в этом заключается основной методологический вызов и потенциал этнографий медленного насилия, а постсоветская периферия предлагает показательные примеры для подтверждения возможностей данного понятия, которое помогает нам лучше понять, почему в заданных контекстах рассредоточенные в пространстве и времени страдания и лишения прав привлекают столь мало внимания или же неверно интерпретируются. Проработка сложных и запутанных темпоральностей, характерных для советских и постсоветских кризисов и объясняющих их, позволяет показать, как этнография может лучше описать временны*е* ландшафты, выходящие за пределы этнографического настоящего. Я опираюсь на данные девяти месяцев полевой работы (2012–2014) по изучению сельских трансформаций и лишения прав (Vorbrugg, 2019a) в четырех западных регионах России.

Ниже я сначала обосную необходимость рассмотрения медленного насилия как в первую очередь исследовательской проблемы, а не чего-то, что мы «обнаруживаем» в действительности, просто используя данное понятие. Затем я опишу два типа задач: во-первых, репрезентационную задачу — вмешательства в те дискурсивные правила, которые либо нормализуют медленное насилие, либо усугубляют его зрелищность; во-вторых, задачу разработки адекватной модели полевой работы в условиях медленного насилия, которое порождает особые формы медленной политики. Последняя задача заставляет серьезно задуматься о политическом и концептуальном взаимодействии с акторами, которые обычно не высказывают свои критические оценки публично и не создают политические движения. В заданных контекстуальных рамках я рассмотрю возможности эпистемологического сотрудничества исследователей и информантов перед лицом насилия, которое ускользает от непосредственного понимания обеих групп. В заключительной части статьи я детально рассмотрю темпоральные вызовы медленного насилия, описав, как участники исследования концептуализируют его запутанные и сложные темпоральности в нарративах о руинах (используя повествования как эвристический

инструмент), и обозначу те вербальные конструкции, что помогают им лучше понимать общие механизмы медленного насилия.

Исследовательская проблема

Я не планировал этнографическое исследование медленного насилия — скорее изучение земельных захватов. Однако большинство собранных мной нарративов об утрате и лишении прав упоминали формы насилия, которые имели пространственно отдаленный, затяжной и бессобытийный характер: принятые где-то еще решения, постепенное разрушение мест жизни и ее течения, успешные и запутанные кризисы советского и постсоветского периодов. Я ожидал обнаружить захватывающие примеры лишения прав, но вместо этого наталкивался на *рассеянные* его виды (Vorbrugg, 2019b), включая формы насилия и лишений, которые зачастую не были для меня очевидны, поскольку я не воспринимал их как часть наблюдаемой ситуации — они не были для меня «этнографически видимыми» (Farmer, 2004: 305). Друг обратил мое внимание на историю с картошкой — иначе я бы просто не заметил ее. Для меня ситуация с тремя пожилыми женщинами осталась бы нормальной (весенние посиделки в солнечный день), если бы наш разговор не переключился на «нормальность» преждевременной гибели их сыновей. Понятие медленного насилия, с одной стороны, помогло мне понять одновременность конкретной потери и страданий, а с другой стороны, позволило осознать сложность изучения таких ситуаций вследствие переплетения в них обыденности и непостижимости, т. е. речь идет о «бессобытийном» насилии (Nixon, 2011: 8) и взаимном поглощении насильственного и обыденного (Das, 2007: 7). Понятие медленного насилия помогло мне признать, что такое насилие — не просто факт или реальность, требующие своего обнаружения, но, что более важно, эпистемологическая, репрезентационная и аналитическая проблема.

Медленное насилие влечет за собой совершенно определенные формы страданий. В то же время между переживанием насилия и обусловившим его действием, событием или виновником не всегда прослеживается темпоральная или пространственная согласованность. Это не означает, что медленное насилие отделено от своих причин или зоны ответственности, однако речь идет об относительно неуловимом «насилии, которое проявляется постепенно и вне поля нашего зрения, о насилии с отсроченной разрушительной силой, рассеянной в пространстве и времени, об изматывающем насилии, которое обычно вообще не воспринимается как насилие» (Nixon, 2011: 2). Поэтому «нам необходимо учитывать репрезентационные, нарративные и стратегические вызовы относительной невидимости медленного насилия» (Nixon, 2011: 2). Эти вызовы имеют критически

важный характер, но редко рассматриваются в этнографических исследованиях.

Недостаточное внимание уделяется и последствиям медленного насилия в рамках качественного подхода, включая методы этнографии. Одна из причин подобного игнорирования состоит в том, что не полевые исследования стали основой соответствующей концепции. Так, книга Никсона базируется на литературных текстах и теории структурного насилия, которая в значительной степени повлияла на концепцию медленного насилия, но не основывалась на полевых данных (Nixon, 2011: 11; см. также: Galtung, 1969; Galtung, Höivik, 1971). Понятие структурного насилия породило широкий спектр исследований, в том числе полевых, но они редко фокусируются на методологических вопросах (см., напр.: Farmer, 2004; Gupta, 2012; Holmes, 2013). Географы и антропологи показывают, как сочетание концепции медленного насилия с этнографическими методами позволяет по-новому и критически взглянуть на ряд тематик, таких как вытеснение и травма в городах (Kern, 2016; Pain, 2019), скрытый расизм в интимных отношениях (Leeuw, 2016), экологический расизм и токсичные географии (Ahmann, 2018; Davies, 2018, 2019), последствия войн (Touhouliotis, 2018) и насильственный отъем земли (Holterman, 2014). Подобное сочетание эмпирически подтверждает, что медленное насилие стало неотъемлемой частью жизни во многих регионах мира, что оно связано с разными условиями, районами и процессами и что его последствия неравномерно распределены по социальным позициям и территориям. Последние исследования медленного насилия подтверждают и методологический потенциал данного понятия: в сочетании с концепцией деколониализма оно позволяет обнаруживать в нарративах представительниц коренного населения описания форм сексуального колониального насилия (Leeuw, 2016); «медленные наблюдения» тех, кто подвергается формам медленного насилия, лежат в основе нарративов и образов, характерных для соответствующих сообществ (Davies, 2018); исследования совместных действий показывают, что в изучении городской среды возможно сочетание понятий медленного насилия и хронической травмы (Pain, 2019).

Однако ряд важных вопросов остается нераскрыт в большинстве кейс-стади. Как именно исследователь фиксирует медленное насилие «в поле»? Как полевые исследования и этнографические описания помогают сделать видимыми формы медленного насилия? Как это влияет на отношения исследователя с информантами? Чем отличаются этнографии медленного насилия от этнографий, которые рассматривают ускользающие формы насилия с помощью иных понятий? Я полагаю, что серьезный анализ методологических, репрезентационных и политических *вызовов* этнографий медленного насилия — инструмент получения ответов на эти вопросы. Акцент на этих вызовах позволяет провести убедительные различия между

медленным насилием и связанными с ним понятиями: «тихое насилие» (Watts, 1983), «структурное» (Farmer, 2004; Galtung, 1969), «обычное» (Das, 2007), «обыденное» (Scheper-Hughes, 1996), «инфраструктурное» (Li, 2018; Rodgers, O'Neill, 2012), «интимное» (Leeuw, 2016; Pain, 2014) и т. д. Все эти понятия указывают на ненаблюдаемые, отчасти неуловимые и часто непрямые формы насилия, т. е. напоминают, что этнографии медленного насилия не задают некие беспрецедентные вопросы, а заставляют отказаться от перечисленных обозначений ненаблюдаемых форм насилия как метафорических номинаций одного и того же феномена ради экспликации лежащих в их основе проблем и вызовов. Как подчеркивает Никсон (Nixon, 2011: 11), «явный темпоральный акцент медленного насилия позволяет нам выдвигать на первый план и фокусироваться на репрезентационных проблемах и образных дилеммах, порождаемых не только неуловимым насилием, но и неуловимыми изменениями, посредством которых это насилие отделено от своих изначальных причин течением времени». Далее я рассмотрю последствия такой фокусировки, обозначив репрезентационные и политические вызовы медленного насилия, варианты эпистемологических заимствований и способы изучения сложных темпоральностей в ходе полевых исследований.

Пределы нормализации и зрелищности

«В эпоху, когда средства массовой информации почитают только зрелищность, а публичная политика вращается преимущественно вокруг очевидных насущных потребностей, главной задачей становится стратегия репрезентации: как мы можем воплощать в образах и нарративах те бедствия, что медленно и долго формируются, бедствия, что анонимны и никого не делают звездой, бедствия, что изнуряюще заурядны для тех технологий охоты за сенсациями, на которых построен наш образный мир?» (Nixon, 2011: 3).

Не только репрезентация составляет суть медленного насилия, но и весь ее «ландшафт». Когда мы обращаемся к проблеме медленного насилия, нам приходится не только предлагать способы его репрезентации, но и стратегически покушаться на сложившуюся дискурсивную модель: описания медленного насилия подразумевают протест *против* определенных форм его репрезентации. Как исследователи мы вторгаемся в «дискурсивную проекцию местности», которую сконструировали средства массовой информации (Kobayashi, Peake, 2007: 172) и одобрил академический дискурс (Coddington, 2017), но которая на деле оказывается ошибочной. Например, дискурсивный ландшафт сельской России выстроен на противопоставлении нормализации и зрелищности, а понятие медленного насилия помогает осмыслить эту

амбивалентность: согласно Никсону (Nixon, 2011: 52), репрезентации медленного насилия часто «страдают недостатком драматизма» и потому сводятся к проблематичным «заменам захватывающей зрелищности и повествовательной напряженности». Репрезентации упадка сельской России — яркий пример этой тенденции.

Население сельской России пережило долгий и затяжной кризис, который стал постоянным. Исследователи говорят о «руралиазации» бедности в постсоветской России (Gerry et al., 2008), ссылаясь на статистические данные. В целом вклад сельского хозяйства в экономику снижается, в 1990-е годы его доля в национальном ВВП сократилась в два раза (Wegren, 2014: 83). В сельских районах ожидаемая продолжительность жизни снизилась почти на шесть лет с 1986 по 1994 год (Eberstadt, 2010: 72-74). Число безработных в сельских регионах выросло в три раза с 1992 по 2009 год и до сих пор превышает средние показатели по стране (Kalugina, 2014: 125). Значительная доля сельских домохозяйств живет ниже черты бедности, и распад сетей взаимной поддержки вследствие экономического спада в стране усугубил показатели бедности (Wegren, 2014: 83). Согласно данным государственной статистики, в сельском хозяйстве доля работников с доходами ниже официального прожиточного минимума превышает аналогичный показатель в остальных секторах экономики (Wegren, 2014: 78), причем надежность официальной статистики ставится под сомнение, и реальные цифры могут быть выше. Кроме того, приведенные данные показывают абстрактную и «унылую» картину нормализованной бедности в мире, где бедные — это в основном сельские жители и занятые в сельском хозяйстве (см.: World Bank, 2016). Иными словами, ограничения сельской жизни воспринимаются как нечто само собой разумеющееся и нормализовавшееся, поэтому привлекают внимание, только если речь идет о ярких образах и зрелищных эпизодах.

На этом фоне неудивительно, что придание лишениям и бедам сельской России оттенка зрелищности — одна из возможных репрезентационных стратегий, призванная привлечь внимание к ее проблемам. Я хочу подчеркнуть две особенности этих стратегий. Во-первых, значительная часть медийных сообщений о жизни в российском селе (в российских и зарубежных средствах массовой информации) склонны изображать свойственные ему лишения в зрелищном формате. Множество таких репортажей изображают российские деревни как зоны беспросветного упадка и отчаяния: «водка и изоляция: добро пожаловать в сельскую Россию» (Kilner, 2007) и «борьба за выживание начинается от знака с названием поселения» (Schepp, 2010: 105) — лишь два примера того, как медийные материалы представляют деревни читателям. Многие репортажи создают впечатление, что их авторы хотели рассказать только о пьянстве и вымирании сельских жителей, о том, как «жизненная сила обширной и плодородной сельской России явно и окончательно истощается» (Shapovalova, 2011). Целые сельские

районы «медленно вымирают» почти без «надежды на возрождение» (Nemtsova, 2015), остаются лишь «осиротевшие деревни» (Strelnikova, 2011) и «деревни-призраки» (Shapovalova, 2011), «неспешно доживающие свой век в российской провинции» (Khazov-Cassia, 2015). Такие репрезентации сводят жизнь в деревне к упадку и опустошению, а их жителей — к пассивным жертвам обстоятельств, не способным или не желающим улучшить ситуацию активными действиями, т. е. смешивают стереотипы о сельской «периферии» с печально известной моделью «человека советского» и тем самым конструируют репрезентацию «российского сельского жителя» как жертвы запустения, алкоголя и смерти.

Вторая черта драматизированных репрезентаций российского села характерна для критического научного дискурса, когда исследователи описывают происходящие в России широкомасштабные «захваты земли» (Sassen, 2010; Visser, Spoor, 2011). Благодаря подобным статьям широкой международной аудитории стала известна проблема лишения прав в сельской России. Однако акцент публикаций на драматических захватах собственности не позволяет им отразить начавшийся намного раньше затяжной, медленно, но постоянно разворачивающийся кризис, который лишил сельских жителей средств к существованию и будущего задолго до того, как капитал заинтересовался сельскохозяйственным производством, а потому сельские информанты подчеркивают роль этого кризиса (Vorbrugg, 2019b). Акцент на «драматичном периоде» (Nixon, 2011: 6), который заключен в самом тропе «захват», препятствует пониманию медленно накапливающихся бедствий и форм насилия. Именно с ними я сталкивался постоянно и не могу припомнить ни одного сельского собеседника за девять месяцев полевой работы, который бы не описывал нынешние лишения как обусловленные прежними кризисами, порожденными советской эпохой и рыночными реформами.

Таким образом, мы находимся в репрезентационном ландшафте, где бедность и лишения нормализуются и почти неинтересны общественности, но могут привлечь ее внимание посредством драматизации, т. е. репрезентационной стратегии, добавляющей зрелищности и остроты той бессобытийной ситуации и затяжным бедствиям, что ускользают от событийно-ориентированных моделей репрезентации и восприятия. Соответственно, наша задача — разработать репрезентационные стратегии, которые сделают неуловимое насилие видимым, избежав стереотипизации и виктимизации инструментов конструирования зрелищности.

Медленное насилие и логика полевой работы

Множество ситуаций и условий, с которыми я сталкивался в полевых исследованиях, оказывались поразительно обыденными

и совершенно нескандальными, по крайней мере, по сравнению с моими ожиданиями относительно крупных земельных сделок, печально известных громкими и скандальными последствиями. В основном компании скупали большие обанкротившиеся хозяйства и часто инвестировали средства в земли, которые буквально стояли под паром, а не лишали мелких собственников прав напрямую. Я был удивлен тем, что руководство компаний совершенно не беспокоили мои наблюдения за их переговорами о земельных сделках на тысячи гектаров. Разве не такие переговоры составляли суть скандалов по поводу земельных захватов? С другой стороны, а почему моя осведомленность должна была их беспокоить? Местные жители крайне редко критиковали инвестиции в землю, чаще выражая обеспокоенность размытыми и опустошающими последствиями системной дезинтеграции и структурных ограничений последних десятилетий (Lindner, 2007; Kalugina, 2014). В этом смысле различия зрелищных и неуловимых форм лишения прав составляют фундаментальное отличие низового политического действия от идеологии полевой работы.

В поле я не сталкивался с ситуациями, когда сетевые отношения власти «прекращали» мою работу (Beban, Schoenberger, 2019). Субъекты власти из бизнес-структур и политических институций, видимо, не считали, что наши исследования (иногда я сотрудничал с российскими и зарубежными коллегами) могли повлиять на их деятельность, а потому обычно были к ним поразительно индифферентны. Многие знали, что мы критически относимся к крупному агробизнесу, но не видели в нас потенциальных нарушителей своего спокойствия. Как правило, они не сталкивались с организованными сельскими движениями и партийно-политической оппозицией и не воспринимали нас, исследователей, как часть союзов, способных оказать на них критически серьезное воздействие. Понятие медленного насилия может стать значимой альтернативой обвинениям в апатии тех, кто в сложной ситуации не протестует (что характерно для сельской России), и поможет ответить на вызовы, связанные с практиками полевой работы, с которыми мы сталкивались в данных конкретных, но распространенных обстоятельствах.

Помимо аналитических задач рассредоточенное в пространстве и времени насилие задает и условия политической мобилизации. В тех случаях, когда «отсутствует драматическое событие или злодей, которого можно обвинить» (Li, 2014: 16), политическое действие не выражается открыто или как организованное оппозиционное движение (см., напр.: Mahmood, 2001; Povinelli, 2011). Это не значит, что политическая активность и открытое сопротивление невозможны или нехарактерны для контекстов медленного насилия (Ahmann, 2018), но они обретают форматы *медленной политики*, которые не соответствуют образу открытого протеста. В нашем исследовании медленная политика включает

в себя усилия сельских жителей по сохранению или перезаключению социальных контрактов, гарантирующих им институциональную поддержку, например, обеспечение местным предприятием ежедневного транспортного сообщения и способности домохозяйств вести сельское хозяйство, а также помощь в случае болезни. Сельские жители маневрируют и изменяют сложные условия жизни, используя стратегии, которые снижают их зависимость от властей, однако идеология этих стратегий часто не подразумевает разрушений и протеста. Это не значит, что сельские жители изо всех сил пытаются сохранить сложившуюся ситуацию — они ведут переговоры об изменении ее условий, вследствие чего и она не останется неизменной. В этом смысле медленная политика реагирует на затяжные, безличностные и разрушительные измерения медленного насилия (Vorbrugg, 2019a)[1]. Однако это не те типы политической активности, на которых сосредоточено внимание активистски-ориентированных ученых, средств массовой информации, международных общественных движений и НКО (см.: Li, 2014). Фокусировка на открытом протесте и организованных социальных движениях противоречит сути медленной политики, поскольку в таком случае она не может привлечь исследовательское внимание. Кроме того, смещение академического интереса в сторону организованных и видимых форм протеста чревато тем, что мы рискуем оставить без внимания тихие и рассредоточенные формы насилия и лишения прав, тем самым способствуя их «невидимости».

Для меня как исследователя, стремящегося участвовать в социальных изменениях, медленная политика оказалась источником историй быстрого успеха, повествующих о значимом вкладе в местные формы протеста. Я участвовал в более насыщенных событиями битвах за ресурсы, которые жаждали медийного освещения, но здесь проблемы были краткосрочными и очень фрагментарными. Обычно относительная незаинтересованность управленцев в моем критическом анализе сочеталась с аналогичной незаинтересованностью сельских жителей, хотя вряд ли по тем же причинам. Я не мог рассчитывать на сотрудничество с политическими группами и движениями или собственный вклад в политическую повестку. Моя позиция, не предполагавшая организованной и устойчивой политической вовлеченности, породила реальные противоречия и трения в ходе полевой работы. Я быстро перемещался между сосредоточиями затяжных бедствий и, в отличие от большинства информантов, не был к ним привязан. Я оставался в поселениях по несколько дней или недель, возвращался в них на протяжении трех лет, с кем-то сдружился, кому-то помогал, с кем-то поддерживал контакты после завершения проекта. Иными словами, моя способность покидать места, к которым информанты,

1. Неоппозиционный характер отличает подобную тактику от нелегальной классовой политики, описанной Дж. Скоттом (Scott, 1985).

«перемещенные, но не сдвинувшиеся с места», были привязаны, была одновременно и признаваемой мной привилегией, и возможностью, о которой мне напоминали сельские жители, и препятствием для реальной политической вовлеченности. Я часто осознавал, что не соответствовал собственным исследовательским стандартам вовлечения в социальные изменения (см. также: Klocker, 2015), а те люди и нарративы, с которыми я имел дело, как правило, мало чем могли мне помочь. В основном они ссылались на исторический распад и системные недостатки, на затяжные и непрямые формы насилия, которые обусловили их беспомощность с точки зрения открытого политического выражения и заставили использовать формы медленной политики для подтверждения своей политической вовлеченности и способности к действию.

Понятие медленного насилия выступает важным напоминанием о пределах устойчивых моделей политического анализа и стратегий, вынуждая нас разрабатывать их дальше, чтобы расширить предполагаемый ими спектр задач и потенциальные точки соприкосновения для заключения политических союзов. Это понятие помогло мне лучше понять политический ландшафт, осознать изначально неверные интерпретации проблем и признать границы аналитических и политических стратегий поиска способов их решения. В период полевых исследований я был плохо подготовлен к тому, чтобы сделать следующий шаг и изложить свои выводы и отношения в формате понятных политических идей. Я полагаю, что этнографы, которые *начинают с* изучения особенностей медленного насилия, будут быстро выходить за пределы индивидуальных исследовательских проектов, заключать соглашения с активными средствами массовой информации, кинорежиссерами или художниками, чтобы совместно работать над творческими форматами репрезентации и оценивать возможности новых союзов с политическими группами, помимо выстраивания взаимоотношений с другими исследователями и информантами. Сейчас я рассмотрю подобные взаимодействия как эпистемологический фундамент для определения и концептуализации контекстуально-специфичных номинаций медленного насилия в полевых исследованиях.

Эпистемологические союзы

Как репрезентационные проблемы, связанные с понятием медленного насилия, влияют на взаимоотношения академических исследователей и информантов? Я исхожу из предположения, что медленное насилие не является абсолютно очевидным для тех, кто сталкивается с ним как исследователь, и может быть столь же «невидимым» для тех, кто в него непосредственно вовлечен. Это утверждение содержит в себе некоторое противоречие: согласно Т. Дэвису (Davies, 2019), важно задаваться вопросом,

«для кого» медленное насилие действительно остается невидимым, и не путать его провозглашенную невидимость с замалчивающими его нарративами, которые просто не *принимаются в расчет* (см. также: McKittrick, 2014; Spivak, 1988). Я согласен, что серьезный анализ нарративов тех, кто сталкивался с медленным насилием, — необходимое условие его этнографического изучения. Впрочем, это условие может быть недостаточным для проработки связанных с медленным насилием проблем.

Во-первых, относительная невидимость медленного насилия составляет суть данного понятия (см. также: Pain, 2019: 387). Медленное насилие по определению неочевидно, но конституирует проблему, требующую решения, поэтому, если мы хотим использовать это понятие, нам придется признать и рассмотреть порождаемые им эпистемологические трудности. Когда личный опыт столкновения с насилием можно легко выразить способами, не порождающими фундаментальные эпистемологические и репрезентационные проблемы, лучше не использовать понятие медленного насилия. Во-вторых, этнографы не должны исходить из посылки, что информанты не способны сказать ничего значимого о том медленном насилии, которому подвержены. Подобная патерналистская позиция легко превращается в эпистемологическое насилие (Spivak, 1988) и противоречит базовой трактовке субъектов этнографии, согласно которой в нарративах они теоретически описывают обстоятельства своей жизни, действуют, исходя из них, и формулируют желания (Biehl, 2014). Однако пределы видимости и репрезентации обусловлены не только опытом переживания медленного насилия: его понимание задано общими эпистемологическими ограничениями восприятия и осознания себя и условий собственной жизни (Butler, 2005). Эпистемологические пределы познания также обусловлены границами рефлексивности в полевой работе (Rose, 1997). Согласно исследовательским данным, контексты неуловимого насилия, насыщенных им историй и социальной заброшенности усугубляют трудности преодоления эпистемологических проблем (Biehl, 2013; Das, 2007; Povinelli, 2011) — то же самое можно сказать о медленном насилии. Причем это понятие помогает четче обозначить перечисленные трудности (не ограничиваясь общеизвестным признанием, что социальный мир предельно сложен) и рассмотреть их по-новому.

Каковы последствия этих возможностей понятия медленного насилия для полевой работы и взаимоотношений исследователей с информантами? В книге Никсона бо́льшая часть аналитической и репрезентационной работы проведена писателями-активистами, которые благодаря «проворному воображению и жизненному азарту» (Nixon, 2011: 5) превращают наблюдения в реалистичные нарративы: «творческое описание помогает сделать неочевидное очевидным, доступным и осязаемым за счет гуманизации затяжных угроз, недоступных непосредственному ощущению... Тем самым

нарративное воображение писателей-активистов предлагает нам иной тип свидетельств — обозрения невидимого» (Nixon, 2011: 15).

Наррация играет решающую роль в придании медленному насилию видимости, и писатели-активисты играют здесь двойную роль: они являются одновременно носителями определенного непосредственного опыта насилия и создателями нарративов, которые описывают обстоятельства этого опыта. С помощью нарративов они решают задачу репрезентации и несут ответственность за подбор используемых понятий, тогда как академические ученые сосредоточены на собственных текстах. Однако условия разделения репрезентационного труда и необходимое для него эпистемологическое сотрудничество меняются, когда академические ученые фокусируются на голосах тех, с кем мы разговариваем и кого интервьюируем в ходе полевых исследований, а не на текстах.

Каким образом этнографическое сотрудничество может снять эпистемологические проблемы, связанные с понятием медленного насилия? Этнографы могут прислушиваться к собеседникам в поле не в меньшей степени, чем к коллегам, и такой подход будет плодотворным для изучения медленного насилия (Mol, 2002: 15). Он отличается от воспроизводства подлинных голосов, которые выражают ситуативно обусловленное знание, поскольку предполагает анализ, конструирование, воображение и творчество как неотъемлемые элементы устных рассказов о медленном насилии. Информанты используют «нарративное воображение» (Nixon, 2011: 15), чтобы преодолевать репрезентационные сложности и делать невидимое очевидным. Люди не вовлечены в опыт медленного насилия как молчаливые страдальцы, что, впрочем, не отменяет сохраняющихся здесь репрезентационных проблем. Исследования медленного насилия могут отталкиваться от этого утверждения как отправной точки в поисках способов сотрудничества для преодоления проблем и совместной разработки средств их выражения. Эта работа принципиально отличается от «предоставления права голоса» (Biehl, 2013: 10), но начинается с *обеспокоенности* условиями и лишениями, помимо непосредственного понимания исследователя и информанта (Biehl, 2013: 11).

Работы по феминизму и деколониализму напоминают, что взаимодействие в поле всегда рискованно и не предполагает равенства позиций, поэтому используют такие понятия, как «частичное знание», «промежуточность», «перевод», «совместное конструирование множественного знания» и т. д., чтобы ориентироваться в возникающих в поле сложностях (England, 1994; Gibson-Graham, 1994; Hiemstra, 2017; Katz, 1994; Nagar, 2014). Соответственно, рассматриваемый тип эпистемологических взаимодействий должен признавать необходимость по крайней мере обсуждения репрезентационной власти и ответственности. Относительная неуловимость медленного насилия не должна

стимулировать или легитимировать возврат того эпистемологически привилегированного академического субъекта, что изучает и дает право голоса покоренному «другому», поскольку это эпистемологически неадекватно (Haraway, 1988) и воспроизводит патернализацию, виктимизацию и лишение голоса информантов (Nagar, 2014; Pain, 2004). Работы по феминизму и деколониализму предлагают исследовательские стратегии, которые применимы в этнографическом изучении медленного насилия, но не в полной мере раскрывают его особенности. Нам скорее нужны формы отзывчивого и ответственного соучастия, которые противостоят и одновременно обусловлены опасениями оказаться втянутыми в условия и лишения за пределами осознания и понимания *всех* участников исследования, включая ученых (Marcus, 1997). Серьезное отношение к таким опасениям и их перевод в «политику без гарантий» (Nagar, 2014: 14) помогает избежать и «божьей шутки» обретения универсального знания (Haraway, 1988), и восприятия информантов как источника «подлинного» знания (Abu-Lughod, 1991; Clifford, 1986).

Отслеживание транс-темпоральных связей через нарративы о руинах

«Нужно всегда помнить изречение У. Фолкнера “прошлое не мертво, это даже не прошлое”. Эти слова, по сути, описывают особую силу ландшафтов, пронизанных медленных насилием, ландшафтов темпоральной множественности, которая ускользает от операций риторической очистки с их «санитарными» началами и окончаниями» (Nixon, 2011: 8).

Если мы говорим о «насилии отсроченного разрушения, рассредоточенном в пространстве и времени» (Nixon, 2011: 2), то с каких методологических позиций подобную размытость насилия должны изучать географы? Они очень долго исследовали и внесли важный вклад в анализ феноменов, рассеянных в пространстве, проводя глобальные (Burawoy, 2000) и многообъектные (Marcus, 1995) этнографические исследования и разрабатывая их методики (Jokela-Pansini, 2018; Roy, 2012; Thieme, 2008; Verne, 2012). Феномены, размытые во времени, намного реже встречаются в этнографической литературе, причем как в дисциплинарных границах географии, так и за ее пределами. Лишь некоторые этнографии настойчиво подчеркивают и конкретизируют аспекты темпоральности (см., напр.: Das, 2007; Gordillo 2014; Watts, 1983). До сих пор на концептуальном уровне и в исследовательских стратегиях не сложились устойчивые трактовки транс- и мультитемпоральных этнографий, эквивалентные их пространственным аналогам: «определения и разграничения в “поле” фундаментально закреплены пространственными тропами» (Dalsgaard, Nielsen, 2013: 1), как

и соответствующие концепции и методы. Как понятие, описывающее пространственно-временное рассредоточение, «медленное насилие» напоминает о необходимости методологической фокусировки на транстемпоральности — в этом главная методологическая сложность и одновременно потенциал этнографических описаний медленного насилия.

Безусловно, из факта, что медленное насилие размыто в пространстве и времени, не следует, что оно ускользает от анализа. По аналогии с мультипространственным транслокальным исследованием анализ транстемпоральных феноменов требует отслеживания взаимосвязей этнографического настоящего с иными временными контекстами. В моем исследовании сельские жители часто указывали на развалины зданий и остатки инфраструктуры, чтобы объяснить сложные темпоральности медленного распада и потерь. Они апеллировали к руинам как «транстемпоральным связующим звеньям» (Pedersen, Nielsen, 2013) и эвристическим инструментам, которые позволяют соединить феномены во времени, установить связи с исчезнувшим прошлым, не теряющим актуальность, и картографировать сложные временные ландшафты (Beasley-Murray, 2010). Развалины помогают осмыслить тот особый тип «перемещений-не-сдвинувшись-с-места» (скорее темпоральных, чем пространственных), что «заставляет сообщества застревать в местах, которые лишились характеристик, что когда-то сделали их пригодными для жизни» (Nixon, 2011: 19). Можно сказать, что сельские жители используют «множественную темпоральность руин» (DeSilvey, Edensor, 2013: 471), потому что она помогает им противостоять множественной темпоральности медленного насилия.

Во всех деревнях, которые я посетил, я видел разрушенные здания заброшенных производственных баз, хлевов, администраций, систем орошения, общежитий и столовых. Они представляют собой «быстрые» и «медленные руины» (Lucas, 2013): некоторые здания и хозяйственные постройки были мгновенно разобраны и распроданы как строительные материалы, другие медленно разрушались после банкротства сельскохозяйственных предприятий. Сельские жители часто упоминают разрушенные здания для подтверждения изменений, неоднозначности и утрат, о которых им сложно говорить абстрактно: «Вы видели там развалины здания? Это был хлев на пять тысяч коз. Видели, какими прочными были стены? Они еще десятилетия могли прослужить». Подобные отсылки связывают прошлое, в котором здания и хозяйственные постройки стабильно обеспечивали сельским жителям занятость и заработок, с возможным на тот момент будущим, которое было уничтожено, и с настоящим, обусловленным этим уничтожением и его потерями. Выраженная в приведенном высказывании трагедия связана не столько с заброшенными деревнями-призраками (доминирующими в медийных репрезентациях), сколько с людьми, которые живут рядом и между руин своей прежней жизни.

Развалины выступают символами совершенно определенных утрат. Меня часто поражали удивительно яркие и детальные описания разрушений систем орошения, хлевов и зданий, составлявших жизненную инфраструктуру деревни и фундамент целого ряда производственных и воспроизводственных задач, уничтожение которого обесценивало сельских жителей как граждан, работников и социальных акторов. Как выразился бывший мэр, «они разрушили колхозы и одновременно систему занятости... Это совершенно иная история, нежели разобрать завод [в городе]... когда ничего вокруг реально не изменится. В течение года где-то еще построят другой завод. Но здесь мы, крестьяне, должны как-то жить, для нас это принципиально [поддерживающее жизнь всей деревни предприятие], нам нужно как-то существовать. Поэтому здесь они все мгновенно уничтожили» (Пермский край, 2013 год).

И сегодня распад «градообразующих» предприятий в деревнях, которые были спроектированы в советское время как «монофункциональные» поселения, воспринимается жителями как угроза не только с точки зрения сокращения рабочих мест, но и в плане исчезновения сельского хозяйства — сферы занятости и социальной ткани сельской жизни. Поэтому для сельчан разрушенные хозяйственные постройки — это символ трагического несоответствия местного потенциала и реализованных возможностей. Помимо разрушения производственной инфраструктуры речь идет о заброшенных полях и лугах, исчезновении скота и безработице людей, обладавших силой и навыками для эффективной реализации местного потенциала. Руины означают разрушение производственных мощностей и утрату шанса получать доход в будущем. Как напоминание об утраченных возможностях руины связывают прошлое, настоящее и будущее: их дисфункциональность не сделала их бессмысленными.

Многие сельские жители признаются, что им до сих пор сложно понять и описать, почему ситуация кардинально изменилась за прошедшие годы: как распад и реорганизация политико-экономической системы, выраженные в сложных и глубоких трансформациях на местах, полностью изменили целые деревни и как они жили в меняющемся окружении. Некоторые информанты сравнивали этот исторический опыт с войной, другие утверждали, что военные действия на востоке Украины напоминали им опыт выживания в постсоветские кризисные годы, когда они тоже потеряли членов семьи, накопления, работу, перспективы и жилье. Отдельные информанты вспоминали войну с нацистской Германией и сравнивали разрушение производственной инфраструктуры в годы постсоветского распада с мародерством немецких войск[2].

2. Переплетения истории сыграли для меня и моего исследования определенную роль. Будучи сотрудником Франкфуртского университета,

В таких сложных с репрезентационной точки зрения условиях руины помогают сельским жителям рассказывать контекстуально обусловленные истории, «возникающие в пространстве между личной и коллективной памятью, и материальные остатки выступают посредником между историей и индивидуальным жизненным опытом» (DeSilvey, Edensor, 2013: 472). Нарративы помогают людям связывать системные и исторические изменения с ситуативным личным опытом, пронизанным локальными непредвиденными обстоятельствами, собственной судьбой и памятью. Нарративы также подчеркивают противоречивость истории. Использование руин в качестве эвристического инструмента позволяет сельским жителям описывать советское прошлое без романтизации, маркируя совершенно определенные пустоты и потери последних десятилетий, а также конкретные изменения и ограничения. Когда мои собеседники вспоминали места, где люди раньше работали и собирались, производственную инфраструктуру предприятий, обеспечивавшие ее государственные программы, банкротства предприятий и массовые увольнения, они описывали конкретные потери конкретных людей, а не высказывали общие суждения об историческом периоде.

Таким образом, в моем исследовании сельские жители воспринимали руины не только как остатки былого, но и как символы взаимосвязи с нарративами, которые «имеют отношение к настоящему, [но] могут избежать проверки» (Stoler, 2016: 5). Сельчане обращали внимание на то, как исторические процессы продолжают ограничивать их нынешние средства существования, потенциал и способность к действию. Преодолевая и разрушая разные оппозиции (DeSilvey, Edensor, 2013: 479), руины ускользают от логики схематичной репрезентации и указывают на то, что исчезло и что сохранилось, на преемственность и разрыв, на заброшенность и потенциал. Обращаясь к руинам, сельские жители концептуализируют обстоятельства собственной жизни. Они создают нарративы, от которых должны отталкиваться этнографы медленного насилия, чтобы понимать сложные темпоральности, затяжные бедствия и наследие, с которыми людям сложно расстаться.

в ряде деревень я оказался первым представителем немецкой институции со времен отступления вермахта. Часто это были поселения вблизи линий фронта Второй мировой войны, где люди помнили, а мемориалы увековечили гибель сотен их односельчан. Моя семейная история, истоки которой ведут в Восточную Европу и которая содержит свидетельства смертельного насилия со стороны как нацистов, так и советского режима, усложнила мое самопозиционирование в полевых условиях, подчеркнув обусловливающие эти сложности противоречия.

Заключение

Медленное насилие не «обнаруживается» просто благодаря правильной аналитической оптике, а требует тщательного изучения. Признание связанных с этим понятием методологических, аналитических и репрезентационных сложностей позволяет понять, как *этнографии* могут способствовать исследованиям медленного насилия и как *исследования медленного насилия* могут способствовать этнографическим дискуссиям. Этнографии медленного насилия должны искать способы репрезентировать те вопросы, что кажутся менее значимыми, актуальными или релевантными, чем их «коллеги, оттягивающие на себя все внимание» (Stoler, 2016: 343).

Информанты и находки этнографических исследований могут бросить вызов привычным форматам репрезентации, но могут и поддержать академические дискуссии о медленном насилии, открытые для концептуальных изменений. Этнографы должны подчеркивать, что информанты не становятся лишними в описаниях медленного насилия, как только мы четко определяем данное понятие. Снижая предопределенность и ограничения абстрактных теоретических споров, этнографии способны обеспечить незаконченность историй медленного насилия. Как субъекты этнографии оживляют любое этнографическое описание, так и множество этнографий может и должно бросать вызов и оживлять широкий спектр дискуссий о медленном насилии, связывая их с новыми районами и задачами, насыщая их новым и актуальным политическим содержанием. Это предполагает признание информантов этнографического исследования не только носителями конкретного опыта, но и создателями иных типов знания, поскольку их теоретизирование порождает «альтернативные фигуры мысли», которые могут оживить и бросить вызов любым режимам репрезентации и подтверждения знания (Biehl, 2014: 96).

В качестве иллюстрации я показал, как сельские жители теоретически описывают условия своей жизни, используя руины как эвристический инструмент отражения сложных темпоральностей. Этнографы могут и должны учиться мыслить с помощью таких символов и теорий, чтобы понимать сложные темпоральности медленного насилия. То же самое можно сказать и об общей задаче развития методов мультитемпоральной этнографии, которые позволят выходить за пределы текущих темпоральных фреймов этнографических ситуаций и прослеживать транстемпоральные взаимосвязи.

Благодарность

Я выражаю благодарность за ценные комментарии к тексту и постоянное взаимодействие Тиму Брукману, Ирису Дзудзеку,

Петеру Линднеру, Нанье Нагорны-Коринг, Стефану Оума и Ванессе Томпсон. Я многим обязан всем тем, кто поддерживал проект в России, особенно Вере Болотовой, Александру Никулину и Марии Савоскул. Немецкий научный фонд щедро поддерживал проект. Я очень благодарен Рейчел Пейн и Кейтлин Кэхил за организацию научного обсуждения проблематики проекта.

Пер. с англ. И.В. Троцук

Библиография

Abu-Lughod L. (1991) Writing against culture. *Recapturing Anthropology: Working in the Present* (ed. R.G. Fox), Santa Fe: School of American Research Press, pp.137–162.

Ahmann C. (2018) "It's exhausting to create an event out of nothing": Slow violence and the manipulation of time. *Cultural Anthropology,* vol. 33, no 1, pp. 142–171.

Beban A., Schoenberger L. (2019) Fieldwork undone: Knowing Cambodia's land grab through affective encounters. *ACME*, vol. 18, no 1, pp. 77–103.

Biehl J. (2013) *Vita: Life in a Zone of Social Abandonment*, Berkeley: University of California Press.

Biehl J. (2014) Ethnography in the way of theory. *The Ground Between: Anthropologists Engage Philosophy* (eds. V. Das, M.Jackson, A.Kleinman, B.Singh), Durham: Duke University Press, pp.94–118.

Beasley-Murray J. (2010) Vilcashuamán: Telling stories in ruins. *Ruins of Modernity* (eds. J. Hell, A. Schönle), Durham: Duke University Press, pp. 212–231.

Burawoy M. (2000) Introduction: Reaching for the global. *Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World* (ed. M.Burawoy), Berkeley: University of California Press, pp.1–40.

Butler J. (2005) *Giving an Account of Oneself,* New York: Fordham University Press.

Clifford J. (1986) Introduction: Partial truths. *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography* (eds. J. Clifford, G.E. Marcus), Berkeley: University of California Press, pp. 1–26.

Coddington K. (2017) Voice under scrutiny: Feminist methods, anticolonial responses, and new methodological tools. *The Professional Geographer*, vol. 69, no 2, pp. 314–320.

Dalsgaard S., Nielsen M. (2013) Time and the field. *Social Analysis*, vol. 57, no 1, pp. 1–19.

Das V. (2007) *Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary*, Berkeley: University of California Press.

Davies T. (2018) Toxic space and time: Slow violence, necropolitics, and petrochemical pollution. *Annals of the American Association of Geographers*, vol. 108, no 6, pp. 1537–1553.

Davies T. (2019) Slow violence and toxic geographies: "Out of sight" to whom? *Environment and Planning C: Politics and Space*, vol. 11, no 9.

DeSilvey C., Edensor T. (2013) Reckoning with ruins. *Progress in Human Geography*, vol. 37, no 4, pp. 465–485.

Eberstadt N. (2010) *Russia's Peacetime Demographic Crisis: Dimensions, Causes, Implications*.

England K.V.L. (1994) Getting personal: Reflexivity, positionality, and feminist research. *The Professional Geographer*, vol. 46, no 1, pp. 80–89.

Faier L., Rofel L. (2014) Ethnographies of encounter. *Annual Review of Anthropology*, vol. 43, no 1, pp. 363–377.

Farmer P. (2004) An anthropology of structural violence. *Current Anthropology*, vol. 45, no 3, pp. 305–325.

Galtung J. (1969) Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, vol. 6, no 3, pp. 167–191.

Galtung J., Höivik T. (1971) Structural and direct violence: A note on operationalization. *Journal of Peace Research*, vol. 8, no 1, pp. 73–76.

Gerry C.J., Nivorozhkin E., Rigg J.A. (2008) The great divide: “Ruralisation” of poverty in Russia. *Cambridge Journal of Economics*, vol. 32, no 4, pp. 593–607.

Gibson-Graham J.K. (1994) “Stuffed if I know!”: Reflections on post-modern feminist social research. *Gender, Place & Culture*, vol. 1, no 2, pp. 205–224.

Gordillo G. (2014) *Rubble. The Afterlife of Destruction*, Durham: Duke University Press.

Gupta A. (2012) *Red Tape: Bureaucracy Structural Violence and Poverty in India*, Durham: Duke University Press.

Haraway D. (1988) Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, vol. 14, no 3, pp. 575–599.

Hiemstra N. (2017) Periscoping as a feminist methodological approach for researching the seemingly hidden. *The Professional Geographer*, vol. 69, no 2, pp. 329–336.

Holmes S.M. (2013) *Fresh Fruit, Broken Bodies: Migrant Farmworkers in the United States*, Berkeley: University of California Press.

Holterman D. (2014) Slow violence, extraction and human rights defense in Tanzania: Notes from the field. *Resources Policy*, vol. 40, pp. 59–65.

Jokela-Pansini M. (2018) Multi-sited research methodology: Improving understanding of transnational concepts. *Area*, pp. 1–8.

Kalugina Z.I. (2014) Agricultural policy in Russia: Global challenges and the viability of rural communities. *International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, vol. 21, no 1, pp. 115–131.

Katz C. (1994) Playing the field: Questions of fieldwork in geography. *The Professional Geographer*, vol. 46, no 1, pp. 67–72.

Kern L. (2016) Rhythms of gentrification: Eventfulness and slow violence in a happening neighborhood. *Cultural Geographies*, vol. 23, no 3, pp. 441–457.

Khazov-Cassia S. (2015) In forgotten Karelian village, frustration with Moscow runs high // www.rferl.org/content/russia-karelia-frustration-putin/27437400.html.

Kilner J. (2007) Vodka and isolation: Welcome to rural Russia // www.reuters.com/article/us-russia-peasants-idUSL0755905620070314.

Klocker N. (2015) Participatory action research: The distress of (not) making a difference. *Emotion, Space and Society*, vol. 17, pp. 37–44.

Kobayashi A., Peake L. (2007) Racism in place: Another look at shock, horror, and racialization. *Feminisms in Geography: Rethinking Space, Place, and Knowledges*. (eds. P. Moss, K.F. Al-Hindi), Lanham: Rowman & Littlefield, pp. 171–178.

Leeuw S. de (2016) Tender grounds: Intimate visceral violence and British Columbia’s colonial geographies. *Political Geography*, vol. 52, pp. 14–23.

Li T.M. (2014) *Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*, Durham: Duke University Press.

Li T.M. (2018) After the land grab: Infrastructural violence and the “Mafia system” in Indonesia’s oil palm plantation zones. *Geoforum*, vol. 96, pp. 328–337.

Lindner P. (2007) Localizing privatization, disconnecting locales: Mechanisms of disintegration in post-socialist rural Russia. *Geoforum*, vol. 38, no 3, pp. 494–504.

Lucas G. (2013) Ruins. *The Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary World* (eds. P. Graves-Brown, R. Harrison, A. Piccini), Oxford: Oxford University Press, pp.192–203.

Mahmood S. (2001) Feminist theory, embodiment, and the docile agent: Some reflections on the Egyptian Islamic revival. *Cultural Anthropology*, vol. 16, no 2, pp. 202–236.

Marcus G.E. (1995) Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. *Annual Review of Anthropology*, vol. 24, no 1, pp. 95–117.

Marcus G.E. (1997) The uses of complicity in the changing mise-en-scène of anthropological fieldwork. *Representations,* vol. 59, pp. 85–108.

McKittrick K. (2014) Mathematics black life. *The Black Scholar*, vol. 44, no 2, pp. 16–28.

Mol A. (2002) *The Body Multiple: Ontology in Medical Practice*, Durham: Duke University Press.

Nagar R. (2014) *Muddying the Waters: Coauthoring Feminisms across Scholarship and Activism*, Urbana: University of Illinois Press.

Nemtsova A. (2015) Trying to build democracy in a hellish Russian village called paradise // www.thedailybeast.com/articles/2015/08/01/trying-to-build-democracy-in-a-hellish-russian-village-called-paradise.html.

Nixon R. (2011) *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Cambridge: Harvard University Press.

Pain R. (2004) Social geography: Participatory research. *Progress in Human Geography*, vol. 28, no 5, pp. 652–663.

Pain R. (2014) Everyday terrorism: Connecting domestic violence and global terrorism. *Progress in Human Geography*, vol. 38, no 4, pp. 531–550.

Pain R. (2019) Chronic urban trauma: The slow violence of housing dispossession. *Urban Studies*, vol. 56, no 2, pp. 385–400.

Pedersen M.A., Nielsen M. (2013) Trans-temporal hinges: Reflections on an ethnographic study of Chinese infrastructural projects in Mozambique and Mongolia. *Social Analysis*, vol. 57, no 1, pp. 122–142.

Povinelli E.A. (2011) *Economies of Abandonment: Social Belonging and Endurance in Late Liberalism*, Durham: Duke University Press.

Rodgers D., O'Neill B. (2012) Infrastructural violence: Introduction to the special issue. *Ethnography*, vol. 13, no 4, pp. 401–412.

Rose G. (1997) Situating knowledges: Positionality, reflexivities and other tactics. *Progress in Human Geography*, vol. 21, no 3, pp. 305–320.

Roy A. (2012) Ethnographic circulations: Space–time relations in the worlds of poverty management. *Environment and Planning A*, vol. 44, no 1, pp. 31–41.

Sassen S. (2010) A savage sorting of winners and losers: Contemporary versions of primitive accumulation. *Globalizations*, vol. 7, no 1–2, pp. 23–50.

Scheper-Hughes N. (1996) Small wars and invisible genocides. *Social Science & Medicine*, vol. 43, no 5, pp. 889–900.

Schepp M. (2010) Das Dorf Zukunft. *Der Spiegel*, no 6, pp. 105–109.

Scott J.C. (1985) *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press.

Shapovalova I. (2011) Exodus leaves Russia's villages to ghosts. www.rt.com/news/rural-russia-dying-villages-411.

Spivak G.C. (1988) Can the subaltern speak? *Marxism and the Interpretation of Culture* (eds. C. Nelson, L.Grossberg), Urbana: University of Illinois, pp. 271–313.

Stoler A.L. (2016) *Duress: Imperial Durabilities in Our Times*, Durham: Duke University Press.

Strelnikova E. (2011) Russian provincial life: Down on the farm // www.opendemocracy.net/od-russia/elena-strelnikova/russian-provincial-life-down-on-farm.

Thieme S. (2008) Living in transition: How Kyrgyz women juggle their different roles in a multi-local setting. *Gender, Technology and Development*, vol. 12, no 3, pp. 325–345.

Touhouliotis V. (2018) Weak seed and a poisoned land. *Environmental Humanities*, vol. 10, no 1, pp. 86–106.

Verne J. (2012) *Living Translocality: Space, Culture and Economy in Contemporary Swahili Trade*, Stuttgart: Steiner.

Visser O., Spoor M. (2011) Land grabbing in post-Soviet Eurasia: The world's largest agricultural land reserves at stake. *Journal of Peasant Studies*, vol. 38, no 2, pp. 299–323.

Vorbrugg A. (2019a) *Dispersed Dispossession: Disintegration, Big Business and Slow Politics in Rural Russia*. Unpublished manuscript.

Vorbrugg A. (2019b) Not about land, not quite a grab: Dispersed dispossession in rural Russia. *Antipode*, vol. 51, no 3, pp. 1011–1031.

Watts M. (1983) *Silent Violence: Food, Famine and Peasantry in Northern Nigeria*, Berkeley: University of California Press.

Wegren S.K. (2014) *Rural Inequality in Divided Russia*, New York: Routledge.

World Bank (2016) *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality*, Washington: The World Bank.

Ethnographies of slow violence: Studying the effects of rural disintegration

Alexander Vorbrugg, Postdoctoral Researcher, Institute of Geography, University of Bern (Switzerland). Hallerstr. 12, 3012 Bern, Switzerland. E-mail: alexander.vorbrugg@giub.unibe.ch.

The article considers the nexus of slow violence as a concept, research focus and problem — on the one hand, and the practices and politics of ethnographic fieldwork and writing — on the other hand. It highlights two aspects; first, the epistemological alliances between researchers and research participants which confront forms of violence that as if remain partly elusive to both sides; second, the multi-temporal ethnographies that work through drawn-out and complex timescapes of violence by tracing cross-temporal connections. The notions of fieldwork are still defined mainly in spatial terms, and so the issue of slow violence is an important reminder to pay more attention to the temporal dimension. The article demonstrates how rural dwellers make sense of complex changes and loss by using the ruins of disintegration as signifiers, and how researchers can draw on this in their analysis. It is based on the ethnographic research conducted in rural Russia which shows how the concept of slow violence helps to make sense of and to make visible the forms of loss and dispossession that often remain elusive in academic and public representations of the Russian countryside.

Keywords: slow violence, multi-temporal ethnography, politics of representation, politics of fieldwork, rural Russia